

Personne n'est, au fond, plus tolérant que moi. Je vois des raisons pour soutenir toutes les opinions; ce n'est pas que les miennes ne soient fort tranchées, mais je conçois comment un homme qui a veçu dans des circonstances contraires aux miennes a aussi des idées contraires.

*Stendhal, Brouillon d'article, 1832**

* В сущности, на свете нет человека более терпимого, чем я. Мне понятны причины разнообразия суждений; и дело не в том, что мои собственные взгляды не слишком тверды, просто я сознаю, что тот, кто жил в обстоятельствах, противоположных моим, имеет и противоположные суждения.

Стендаль. Набросок статьи, 1832 г.

1. ИНТЕРМЕЦЦО

1963

Und allen Plänen gegenüber begleitet mich die Frage: «Was soll der Unsinn?»; eine Frage, die überhaupt ganz und gar von mir Besitz zu nehmen droht.

*Theodor Fontane**

* И что бы я ни задумал, меня преследует вопрос: «Зачем вся эта бессмыслица?» — вопрос, который грозит завладеть мною целиком и полностью.

Теодор Фонтане

В тот день, когда Инни Винтроп покончил самоубийством, курс акций «Филипса» составлял 146,60 пунктов. По Амстердамскому банку заключительный курс был 375, а Объединенные пароходства упали до 141,50. Память чем-то похожа на собаку — где хочет, там и ляжет. Ведь если вообще что-то вспоминалось, так именно это — биржевые курсы, и луна над каналом, и как он повесился в уборной, напророчив себе в гороскопе для «Пароля», что от него уйдет жена и он, Лев, покончит самоубийством. Пророчество сбылось во всем. Зита сбежала с итальянцем, а Инни покончил самоубийством. Еще он читал тогда стихотворение Блума*, но какое именно — забыл. Собака — зверь своенравный, тут она заартачилась.

* Блум Жак (1887—1966) — нидерландский поэт.

Шестью годами раньше, в ночь перед свадьбой, на той же Принсенграхт, на ступенях Дворца юстиции, он плакал так же искренне, как на Валериусстраат плакала Зита, когда он лишил ее девственности в комнате, полной лягушек и рептилий. И по той же причине. От неясных предчувствий и безотчетного страха изменить свою жизнь — чем угодно, хотя бы и неким символом или обрядом.

Он очень любил Зиту. И в глубине души, только про себя, называл ее принцессой Намибии. Потому что у нее были зеленые глаза, и блестящие рыжие волосы, и, как положено, матовая бело-розовая кожа — все приметы высшей намибийской знати, а кроме того, в ней чувствовалось безмолвное, сдержанное удивление, которое повсюду в Намибии слышит добродетелью истинной аристократии.

Зита любила Инни, пожалуй, еще больше. Все пошло прахом лишь оттого, что Инни не любил себя. Хотя, конечно, нашлись и такие, кто утверждал, что виной всему их дурацкие имена, но как Инни (Иниго, в честь знаменитого английского архитектора*), так и Зита (мать принцессы Намибии была поклон-

* Имеется в виду Иниго Джонс (1572—1651) — знаменитый английский архитектор, создатель Уайтхолла.

ницей дома Габсбургов*) знали, что необычное звучание имен выделяло их и обособляло от остального мира, и, лежа в постели, бывало, часами твердили «Инни-Инни-Зита-Зита», а в особых случаях и еще более мягкие, ласковые варианты — Зинни, Ита, Инизита, Зиннининита, Итизита, — в такие мгновения им хотелось вечно продолжать это переплетение имен и тел, но, увы, на свете нет более непримиримых врагов, чем время в целом и всякая произвольная, обособленная его часть, и ничего тут не поделаешь.

Инни Винтроп, теперь лысоватый, а тогда с непокорной и по тем временам длинной золотистой шевелюрой, отличался от многих своих ровесников, потому что плохо ладил с ночным одиночеством, имел кое-какие деньги и порой грезил наяву. Еще он иногда торговал живописью, составлял гороскопы для «Пароля», знал наизусть массу нидерландских стихов и внимательно следил за ситуацией на бирже и товарном рынке. Политические убеждения, какого бы толка они ни были, он считал более или менее легкими формами душевной болез-

* Зита Бурбон-Пармская (1892—1989) — императрица Австрии и королева Венгрии, супруга австрийского императора Карла I; после 1919 г. жила в изгнании.

ни и себе самому отвел в мире место дилетанта, в итальянском смысле слова.

Окружающие расценивали эти замашки как оппозиционерство, и в Амстердаме воспринимали их все более раздраженно — ведь уже настали шестидесятые годы. «Инни живет в двух мирах», — говорили его очень разные друзья, сами жившие в одном-единственном мире, но Инни, в любую минуту дня и ночи — хотя бы и по просьбе! — готовый возненавидеть себя, тут делал исключение. Будь он честолюбив, он бы наверняка охотно признал себя неудачником, но у него не было никаких амбиций, и на жизнь он смотрел как на странноватый клуб, где очутился совершенно случайно и откуда мог вылететь без всяких объяснений. Он и сам уже решил выйти из этого клуба, если сборище станет вовсе скучным.

Но как определишь, что скука достигла предела? Нередко казалось, что этот миг уже наступил. Инни тогда целыми днями валялся на полу, уткнувшись головой в жесткие рубцы китайской циновки, которые оставляли на его довольно нежной коже узоры в стиле Фонтаны*. Зита называла это самоедством, но, понимая,

* Фонтана Лючио (1899—1968) — итальянский художник, скульптор и керамист.

что из глубин незримым потоком хлестала подлинная тоска, старалась в такие мрачные дни окружить Инни особой заботой. Большею частью самоедство кончалось видением. И тогда Инни выбирался из мучительных угрызений, звал Зиту, описывал ей существа, которые только что являлись ему, и рассказывал, что они говорили.

С той ночи, когда Инни плакал на ступенях Дворца юстиции, минули годы. Они с Зитой ели, пили, путешествовали. Инни терял деньги на никеле и зарабатывал на акварелях Гагской школы, составлял гороскопы и рецепты для «Элеганс». Зита едва не стала матерью, но на сей раз Инни не совладал со своим страхом перед переменами, велел перекрыть доступ в мир, который его в конечном счете тоже не интересовал. И таким образом скрепил печатью самую большую переменную из всех — уход Зиты. Инни уловил лишь первые легкие тени: кожа у нее стала суше, глаза порой не смотрели на него, она реже называла его по имени, — но связывал он эти приметы исключительно с ее судьбой, а не со своей.

Время — штука своеобразная: когда оглядываешься назад, оно видится компактной массой,

неделимым монолитом, блюдом с единственным запахом и единственным вкусом. Инни, хорошо знакомый с ходовыми клише современных поэтов, любил в те дни говорить о себе как о «дыре», как об отсутствующем, несуществующем. Не в пример поэтам, он не имел в виду ничего серьезного, для него это был просто социальный комментарий к факту, что он умел водить компанию с очень и очень разными людьми. Дыра, хамелеон, пустой сосуд, который можно наполнить поступками и речами, — ему это было безразлично, а возможностей для мимикрии Амстердам предлагал сколько угодно. «Ты не живешь, — сказал ему однажды друг-писатель, — ты идешь на поводу», и Инни воспринял это как комплимент. Он считал, что одинаково хорошо играет свою роль и в заурядном кафе, и на собрании акционеров. Только прическа и одежда порой создавали сложности, но как раз в те годы весь Амстердам охамелеонился, бесклассовость общества провозгласили прежде всего в одежде, и более не имело значения, когда, кто и как был одет, — и для Инни настала счастливейшая пора, если позволительно говорить о чем-то таком в его жизни.

Другое дело Зита. Неисчерпаемые намибийские резервы и те в конце концов иссяка-

ют. У некоторых женщин столько преданности, что от верной катастрофы их может спасти только измена, одна-единственная. Пожалуй, Инни сумел бы догадаться об этом, но когда-то, в недрах неделимой массы невозвратного времени, он перестал обращать на Зиту внимание и, что еще хуже, при всех предзнаменованиях и тенях, медленно ее забывая, спал с нею все чаще, так что Зита медленно, но верно отбирала свою любовь у этого все более чужого мужчины, который, возбуждая ее, лаская, целуя, доводя до вершины блаженства, иной раз целыми днями ее же не замечал. Так Инни и Зита стали поистине машинами сладострастия, любо-дорого глядеть — украшения города, сказочные фигуры на вечеринках Хаффи Кейзер и Дика Холтхауса. Когда Зита бывала одна, ей иной раз хотелось постоять у витрины с детской одеждой. И тогда она вздрагивала от затаенной жажды мести, большей частью, когда Инни — видеть это мог лишь воображаемый исполинский компьютер, который регистрирует все и вся, — где-нибудь в жалкой комнатухе одной из европейских столиц развлекался со шлюхой или соплюшкой в джинсах либо по-крупному проигрывал за игорным столом, шесть раз кряду поднимая ставки. На осторожные маневры